

Максим Горький. Страсти-мордасти

Душной летней ночью, в глухом переулке окраины города, я увидел странную картину: женщина, забравшись в середину обширной лужи, топала

ногами, разбрызгивая грязь, как это делают ребятишки,- топала и гнусаво пела скверненькую песню, в которой имя Фомка рифмовало со словом емкая.

Днем над городом могуче прошла гроза, обильный дождь размочил грязную глинистую землю переулка; лужа была глубокая, ноги женщины уходили в нее

почти по колени. Судя по голосу, певица была пьяная. Если б она, устав плясать, упала, то легко могла бы захлебнуться жидкой грязью.

Я подтянул повыше голенища сапог, влез в лужу, взял плясунью за руки и потащил на сухое место. В первую минуту, она, видимо, испугалась,- пошла за мною молча и покорно, но потом сильным движением всего тела вырвала правую

руку, ударила меня в грудь и заорала:

- Караул!

И снова решительно полезла в лужу, увлекая меня за собой.

- Дьявол,- бормотала она.- Не пойду! Проживу без тебя... поживи без меня... Краул!

Из тьмы вылез ночной сторож, остановился в пяти шагах от нас и спросил сердито:

- Кто скандалит?

Я сказал ему, что - боюсь, не утонула бы женщина в грязи, и вот - хочу вытащить ее; сторож присмотрелся к пьяной, громко отхаркнул и приказал:

- Машка - вылезь!

- Не хочу.

- А я те говорю - вылезь!

- А я не вылезу.

- Вздую, подлая,- не сердясь, пообещал сторож и добродушно, словоохотливо обратился ко мне: - Это - здешняя, паклюжница, Фролиха, Машка.

Папироски нету?

Закурили. Женщина храбро шагала по луже, вскрикивая:

- Начальники! Я сама себе начальница... Захочу - купаться буду...

- Я те покупаюсь,- предупредил ее сторож, бородатый крепкий старик.-

Эдак-то вот она каждую ночь, почитай, скандалит. А дома у ней - сын безногой...

- Далеко живет?..

- Убить ее надо,- сказал сторож, не ответив мне.

- Отвести бы ее домой,- предложил я.

Сторож фыркнул в бороду, осветил мое лицо огнем папиросы и пошел прочь, тяжело топя сапогами по липкой земле.

- Веди! Только допрежде в рожу загляни ей.

А женщина села в грязь и, разгребая ее руками, завизжала гнусаво и дико:

Как по-о мор-рю..

Недалеко от нее в грязной жирной воде отражалась какая-то большая звезда из черной пустоты над нами. Когда лужа покрылась рябью - отражение исчезло. Я снова влез в лужу, взял певичку под мышки, приподнял и, толкая коленями, вывел ее к забору; она упиралась, размахивала руками и вызывала меня.

- Ну - бей, бей! Ничего,- бей... Ах ты, зверь... ах ты, ирод... ну - бей!

Приставив ее к забору, я спросил - где она живет. Она приподняла пьяную голову, глядя на меня темными пятнами глаз, и я увидел, что переносье у нее провалилось, остаток носа торчит, пуговкой, вверх, верхняя губа, подтянутая шрамом, обнажает мелкие зубы, ее маленькое пухлое лицо улыбается отталкивающей улыбкой.

- Ладно, идем,- сказала она.

Пошли, толкая забор. Мокрый подол юбки хлестал меня по ногам.

- Идем, милый,- ворчала она, как будто трезвея.- Я тебя приму... Я те дам утешеньице...

Она привела меня на двор большого, двухэтажного дома; осторожно, как слепая, прошла между телег, бочек, ящиков, рассыпанных полениц дров, остановилась перед какой-то дырой в фундаменте и предложила мне:

- Лезь.

Придерживаясь липкой стены, обняв женщину за талию, едва удерживая расплывшееся тело ее, я спустился по скользким ступеням, нащупал войлок и скобу двери, отворил ее и встал на пороге черной ямы, не решаясь ступить дальше.

- Мамка, - ты? - спросил во тьме тихий голос.

- Я-а...

Запах теплой гнили и чего-то смолистого тяжело ударил в голову. Вспыхнула спичка, маленький огонек на секунду осветил бледное детское лицо и погас.

- А кто же придет к тебе? Я-а,- говорила женщина, наваливаясь на меня.

Снова вспыхнула спичка, зазвенело стекло, и тонкая, смешная рука зажгла маленькую жестяную лампу.

- Утешеньишко мое,- сказала женщина и, покачнувшись, опрокинулась в угол,- там, едва возвышаясь над кирпичом пола, была приготовлена широкая постель.

Следя за огнем лампы, ребенок прикручивал фитиль, когда он, разгораясь, начинал коптить. Личико у него было серьезное, остроносое, с пухлыми, точно у девочки, губами,- личико, написанное тонкой кистью и поражающе неуместное в этой темной сырой яме. Справившись с огнем, он взглянул на меня какими-то мохнатыми глазами и спросил:

- Пьяная?

Мать его, лежа поперек постели, всхлипывала и храпела.

- Ее надо раздеть,- сказал я.

- Так раздевай,- отозвался мальчик, опустив глаза.

А когда я начал стаскивать с женщины мокрые юбки - он спросил тихо и деловито:

- Огонь-то - погасить?

- Зачем же!

Он промолчал. Возясь с его матерью, как с мешком муки, я наблюдал за ним: он сидел на полу, под окном, в ящике из толстых досок с черной-печатными буквами - надписью:

ОСТОРОЖНО

Т-во Н. Р. и К

Подоконник квадратного окна был на уровне плеча мальчика. По стене в несколько линий тянулись узенькие полочки, на них лежали стопки папиросных и спичечных коробок. Рядом с ящиком, в котором сидел мальчуган, помещался еще ящик, накрытый желтой соломенной бумагой и, видимо, служивший столом.

Закинув смешные и жалкие руки за шею, мальчик смотрел вверх в темные стекла окна.

Раздев женщину, я бросил ее мокрое платье на печь, вымыл руки в углу, из глиняного рукомойника, и, вытирая их платком, сказал ребенку:

- Ну, прощай!

Он поглядел на меня и спросил немножко шепеляво:

- Теперь - гасить лампу?

- Как хочешь.

- А ты - уходишь, не ляжешь?

Он протянул ручонку, указывая на мать:

- С ней.

- Зачем? - спросил я глупо и удивленно.

- Сам знаешь,- сказал он страшно просто и, потянувшись, прибавил:

- Все ложатся.

Сконфуженный, я оглянулся: вправо от меня-чело уродливой печки, на шестке - грязная посуда, в углу - за ящиком - куски смоленого каната, куча нащипанной пакли, поленья дров, щепки и коромысло.

У моих ног вытянулось и храпит желтое тело.

- Можно посидеть с тобой? - спросил я мальчика. Он, глядя на меня исподлобья, ответил:

- Она ведь до утра уж не проснется.

- Да мне ее не надо.

Присев на корточки к его ящику, я рассказал, как встретил мать, стараясь говорить шутливо:

- Села в грязь, гребет руками, как веслами, и поет... Он кивнул головою, улыбаясь бледненькой улыбкой, почесывая узенькую грудь.

- Пьяная потому что. Она и тверезая любит баловаться. Как маленькая все равно...

Теперь я рассмотрел его глаза,- они действительно мохнаты, ресницы их

удивительно длинны, да и на веках густо росли волосики, красиво изогнутые. Синеватые тени лежали под глазами, усиливая бледность бескровной кожи, высокий лоб, с морщинкой над переносьем, покрывала растрепанная шапка курчавых рыжеватых волос. Неопишимо выражение его глаз - внимательных и

спокойных,- я с трудом выносил этот странный, нечеловечий взгляд.

- У тебя - что с ногами-то?

Он завозился, высвободил из тряпья сухую ногу, похожую на кочережку, приподнял ее рукою и положил на край ящика.

- Вот какие ноги. Обе такие, с роду. Не ходят, не живут, а - так себе...

- А что это в коробочках?

- Зверильница,- ответил он, взял ногу рукою, точно палку, сунул ее в тряпки на дно ящика и ясно, дружески улыбаясь, предложил:

- Хошь - покажу? Ну, так садись хорошенько. Ты эдакого еще и не видал никогда.

Ловко действуя тонкими, непомерно длинными руками, он приподнялся на полкорпуса и стал снимать коробки с полок, подавая мне одну за другой.

- Гляди,- не открывай, а то - убегут! Прислони к уху, послушай. Что?

- Шевелится кто-то...

- Ага! Это-паучишка там сидит, подлец! Его зовут - Барабанщик.

Хитрый!..

Чудесные глаза ласково оживились, на синеньком личике играла улыбка. Быстро действуя ловкими руками, он снимал коробки с полок, прикладывая их к

своему уху, потом - к моему и оживленно рассказывал:

- А тут - таракашка Анисим, хвостун, вроде солдата. Это - муха, Чиновница, сволочь, каких больше нет. Целый день жужжит, всех ругает, мамку

даже за волосы таскала. Не муха, а - чиновница, которая на улицу окнами живет, муха только похожая. А это - черный таракан, большущий,- Хозяин; он - ничего, только пьяница и бесстыдник. Напьется и ползает по двору голый, мохнатый, как черная собака. Здесь - жук, дядя Никодим, я его на дворе сцапал, он - странник, из жуликов которые; будто на церковь собирает; мамка зовет его - Дешевый; он тоже любовник ей. У нее любовников - сколько хочешь,

как мух, даром что безногая.

- Она тебя не бьет?

- Она-то? Вот еще! Она без меня жить не может. Она ведь добрая, только пьяница, ну,- на нашей улице - все пьяницы. Она - красивая, веселая тоже... Очень пьяница, курва! Я ей говорю: ?Перестань, дурочка, водку эту глотить, богатая будешь?,- а она хохочет. Баба, ну и - глупая! А она - хорошая, вот проспится - увидишь.

Он обаятельно улыбался такой чарующей улыбкой, что хотелось зареветь, закричать на весь город от невыносимой, жгучей жалости к нему. Его красивая головка покачивалась на тонкой шее, точно странный какой-то цветок, а глаза все более разгорались оживлением, притягивая меня с необоримою силой.

Слушая его детскую, но страшную болтовню, я на минуту забывал, где сижу, и вдруг снова видел тюремное окно, маленькое, забрызганное снаружи грязью, черное жерло печи, кучу пакли в углу, а у двери, на тряпье, желтое,

как масло, тело женщины-матери.

- Хорошая зверильница? - спросил мальчик с гордостью.

- Очень.

- Бабочков нету вот у меня,- бабочков и мотыльков!

- Тебя как зовут?

- Ленька.

- Тезка мне.

- Ну? А ты - какой человек?

- Так себе. Никакой.

- Ну, уж врешь! Всякий человек - какой-нибудь, я ведь знаю. Ты - добрый.

- Может быть.

- Уж я вижу! Ты - робкий, тоже.

- Почему - робкий?

- Уж я знаю!

Он улыбнулся хитрой улыбкой и даже подмигнул мне.

- А почему все-таки робкий?

- Вот - сидишь со мной, значит - боишься ночью-то идти!

- Да ведь уж - светает.

- Ну, и уйдешь.

- Я опять приду к тебе.

Он не поверил, прикрыл милые мохнатые глаза ресницами и, помолчав, спросил:

- Зачем?

- Посидеть с тобой. Ты очень интересный. Можно прийти?

- Валяй! К нам все ходят...

Вздохнув, он сказал:

- Обманешь.

- Ей-богу - приду!

- Тогда - приходи. Ты уж - ко мне, а не к мамке, ну ее к ляду! Ты - давай дружить со мной,- ладно?

- Ладно.

- Ну вот. Ничего, что ты большой; тебе-сколько годов?

- Двадцать первый.

- А мне - двенадцатый. У меня - нету товарищей, одна Катька водовозова, так ее водовозиха бьет за то, что она ко мне ходит... Ты - вор?

- Нет. Почему - вор?

- У тебя очень рожа страшная, худущая, с таким носом, как у воров. У нас два вора бывают, один - Сашка, дурак и злой, а другой - Ванечка, так этот добрый, как собака. А у тебя коробочки есть?

- Принесу.

- Принеси! Я мамке не скажу, что ты придешь...

- Почему?

- Так. Она всегда радуется, когда мужчины в другой раз приходят. Вот, - любит мужчин, шкуреха,- просто беда! Она - смешная девчонка, мамка у меня.

Пятнадцати лет ухитрилась - родила меня и сама не знает - как! Ты - когда придешь?

- Завтра вечером.

- Вечером она уж напьется. А ты чего делаешь, если не ворует?

- Баварским квасом торгую.
- Ой ли? Принеси бутылку, а?
- Конечно - принесу! Ну, я пошел.
- Валяй. Придешь?
- Обязательно.

Он протянул мне обе длинные руки, я тоже обеими руками сжал и потряс эти тонкие холодные косточки и, уже не оглядываясь на него, вылез на двор, точно пьяный.

Светало; над сырой кучей полуразвалившихся построек трепетала, угасая, Венера. Из грязной ямы под стеною дома смотрели на меня квадратными глазами стекла подвального окна, мутные и грязные, как глаза пьяницы. В телеге у ворот спал, широко раскинув огромные босые ноги, краснорожий мужик, торчала в небо густая, жесткая борода - в ней светились белые зубы,- казалось, что мужик, закрыв глаза, ядовито, убийственно смеется. Подошла ко мне старая собака, с плешью на спине, видимо, ошпаренная кипятком, понюхала ногу мою и тихонько, голодно провыла, наполнив сердце мое ненужной жалостью к ней. На улицах, в лужах, устоявшихся за ночь, отражалось утреннее небо - голубое и розовое,- эти отражения придавали грязным лужам обидную, лишнюю, развращающую душу красоту.

На другой день я попросил ребяташек моей улицы наловить жуков, бабочек, купил в аптеке красивых коробочек и отправился к Леньке, захватив с собою две бутылки квасу, пряников, конфет и сдобных булок.

Ленька принял мои дары с великим изумлением, широко открыв милые глаза,- при дневном свете они были еще чудесней.

- У-ю-юй,- заговорил он низким, не ребячьим голосом,- сколько ты всего притащил! Ты, что ли, богатый? Как же это,- богатый, а плохо одетый и, говоришь,- не вор? Вот так коробочки! Ую-юй,- даже жалко тронуть, руки у меня невымытые. Там - кто? Юх,- жучишка-то! Как медный, даже зеленый, ох ты, черт... А - выбегут да улетят? Ну уж...

И вдруг весело крикнул:

- Мамк! Слезь, вымой руки мне,- ты погляди, курятина, чего он принес! Это - он самый, вчерашний, ночной-то, который приволок тебя, как будочник,- это он все! Его тоже Ленька зовут...

- Спасибо надо сказать ему,- услышал я сзади себя негромкий, странный голос.

Мальчик часто закивал головой:

- Спасибо, спасибо!

В подвале колебалось густое облако какой-то волосатой пыли, сквозь него я с трудом разглядел на печи встрепанную голову, обезображенное лицо женщины, блеск ее зубов,- невольную, нестираемую улыбку.

- Здравствуйте!

- Здравствуйте,- повторила женщина; ее гнусавый голос звучал негромко, но - бодро, почти весело. Смотрела она на меня прищурясь и как будто насмешливо.

Ленька, забыв про меня, жевал пряник, мычал, осторожно открывая коробки,- ресницы бросали тень на щеки его, увеличивая синеву под глазами. В грязные стекла окна смотрело солнце, тусклое, как лицо старика, на рыжеватые волосы мальчика падал мягкий свет, рубашка на груди Леньки расстегнута, и я видел, как за тонкими косточками бьется сердце, приподнимая кожу и едва намеченный сосок.

Его мать слезла с печи, намочила под рукомойником полотенце и, подойдя к Леньке, взяла его левую руку.

- Убег, стой,- убег! - закричал он и весь, всем телом, завертелся в ящике, разбрасывая пахучее тряпье под собой, обнажая синие неподвижные ноги.

Женщина засмеялась, шевыряясь в тряпках, и тоже кричала:

- Лови его!

А поймав жука, положила его на ладонь своей руки, осмотрела бойкими глазами василькового цвета и сказала мне тоном старой знакомой:

- Эдаких - много!

- Не задави,- строго предупредил ее сын.- Она, раз, пьяная села на зверильницу-то мою, так столько подавила!

- А ты забудь про то, утешеньце мое.

- Уж я хоронил-хоронил...

- Я же тебе сама и наловила их после.

- Наловила! Те были - ученые, которых задавила ты, дурочка из переулочка! Я их, которые издохнут, в подпечке хороню, выползу и хороню, там

у меня кладбище... Знаешь, был у меня паук, Минка, совсем как мамкин любовник один, прежний, который в тюрьме, толстенький, веселый...

- Ах ты, утешеньишко мое милое,- сказала женщина, поглаживая кудри сына темной маленькой рукою с тупыми пальцами. Потом, толкнув меня локтем, спросила, улыбаясь глазами:

- Хорош сынок? Глазки-то, а?

- Ты возьми один глаз, а ноги - отдай,- предложил Ленька, ухмыляясь и разглядывая жука.- Какой... железный! Толстый. Мам, он - на монаха похожий, на того, которому ты лестницу вязала,- помнишь?

- Ну как же!

И, посмеиваясь, она стала рассказывать мне:

- Это, видишь, ввалился однова к нам монашище, большущий такой, да и спрашивает: ?Можешь ты, паклюжница, связать мне лестницу из веревок?? А я

- сроду не слыхала про такие лестницы. ?Нет, говорю, не смогу я!? - ?Так я, говорит, тебя научу?. Распахнул рясу-то, а у него все брюхо веревкой нетолстой окручено,- длинная веревка да крепкая! Научил. Вяжу я, вяжу, а сама думаю: ?На что это ему? Не церкву ли ограбить собрался??

Она засмеялась, обняв сына за плечи и все поглаживая его.

- Ой, затейники! Пришел он в срок, я и говорю: ?Скажи, ежели это тебе для воровства, так я не согласна!? А он смеется хитровато таково: ?Нет, говорит, это - через стену перелезть, у нас стена большая, высокая, а мы люди грешные, а грех-от за стеной живет,- поняла ли?? Ну, я поняла: это ему, чтобы по ночам к бабам лазить. Хохотали мы с ним, хохотали...

- Уж ты у меня хохотать любишь,- сказал мальчик тоном старшего.- А вот самовар бы поставила...

- Так сахару же нету у нас.
- Купи поди...
- Да и денег нету.
- Уй, ты, пропивашка! У него возьми вот...

Он обратился ко мне:

- У тебя есть деньги?

Я дал женщине денег, она живо вскочила на ноги, сняла с печи маленький самовар, измятый, чумазый и скрылась за дверью, напевая в нос.

- Мамка! - крикнул сын вслед ей. - Вымой окошко, ничего не видать мне! - Ловкая бабенка, я тебе скажу! - продолжал он, аккуратно расставляя по полочкам коробки с насекомыми, - полочки, из картона, были привешены на бечевках ко гвоздям, вбитым между кирпичами в пазы сырой стены. - Работница... как начнет паклю щипать, - хоть задохнись, такую пылицу пустит! Я кричу: ?Мамка, да вынеси ты меня на двор, задохнусь я тут!? А она: ?Потерпи, говорит, а то мне без тебя скучно будет?. Любит она меня, да и все! Щиплет и поет, песен она знает тыщу!

Оживленный, красиво сверкая дивными глазами, приподняв густые брови, он запел хриплым альтовым голосом:

Вот Орина на перине лежит...

Послушав немножко, я сказал:

- Очень похабная песня.
- Они все такие, - уверенно объяснил Ленька и вдруг встрепенулся. - Чу, музыка пришла! Ну-ко, скорее, подними-ко меня...

Я поднял его легкие косточки, заключенные в мешок серой, тонкой кожи, он жадно сунул голову в открытое окно и замер, а его сухие ноги бессильно покачивались, шаркая по стене. На дворе раздраженно визжала шарманка, выбрасывая лохмотья какой-то мелодии, радостно кричал басовитый ребенок, подвывала собака, - Ленька слушал эту музыку и тихонько сквозь зубы ныл, прилаживаясь к ней.

Пыль в подвале осела, стало светлее. Над постелью его матери висели рублевые часы, по серой стене, прихрамывая, ползал маятник величиною с медный пятак. Посуда на шестке стояла немойтой, на всем лежал толстый слой пыли, особенно много было ее в углах на паутине, висевшей грязными тряпками

Ленькино жилище напоминало мусорную яму, и превосходные уродства нищеты,

безжалостно оскорбляя, лезли в глаза с каждого аршина этой ямы.

Мрачно загудел самовар, шарманка, точно испугавшись его, вдруг замолчала, чей-то хриплый голос прорычал:

- Р-рвань!
- Сними, - сказал Ленька, вздыхая, - прогнали... Я посадил его в ящик, а он, морщась и потирая грудь руками, осторожно покашлял:
- Болит грудишка у меня, долго дышать настоящим воздухом нехорошо мне. Слушай, - ты чертей видал?
- Нет.

- И я тоже. Я, ночью, все в подпечек гляжу - не покажутся ли? Не показываются. Ведь черти на кладбищах водятся, верно?

- А на что тебе их?

- Интересно. Вдруг один черт - добрый? Водовозова Катька видела чертика в погребе,- испугалась. А я страшного не боюсь.

Закутав ноги тряпьем, он продолжал бойко:

- Я люблю даже - страшные сны люблю, вот. Раз видел дерево, так оно вверх корнями росло,- листья-то по земле, а корни в небо вытянулись. Так я даже вспотел весь и проснулся со страху. А то - мамку видел: лежит голая, а собака живот выедает ей, выкусит кусочек и выплюнет, выкусит и выплюнет.
А

то - дом наш вдруг встряхнулся да и поехал по улице, едет и дверями хлопает и окнами, а за ним чиновница кошка бежит...

Он зябко повел остренькими плечиками, взял конфекту, развернул цветную бумажку и, аккуратно расправив ее, положил на подоконник.

- Я из этих бумажек наделаю разного, чего-нибудь хорошего. А то - Катьке подарю. Она тоже любит хорошее: стеклышки, черепочки, бумажки и все.

А - слушай-ка: если таракана все кормить да кормить, так он вырастет с лошадь?

Было ясно, что он верит в это; я ответил:

- Если хорошо кормить - вырастет!

- Ну да! - радостно вскричал он.- А мамка, дурочка, смеется!

И он прибавил заторное слово, оскорбительное для женщины.

- Глупая она! Кошку так уж совсем скоро можно раскормить до лошади - верно?

- А что ж? Можно!

- Эх, корму нет у меня! Вот бы ловко!

Он даже затрясся весь от напряжения, крепко прижав рукой грудь.

- Мухи бы летали по собаке величиной! А на тараканах можно бы кирпич возить,- если он - с лошадь, так он сильный! Верно?

- Только вот усы у них...

- Усы не помешают, они - как вожжи будут, усы! Или - паук ползет - огромный, как - кто? Паук - не боле котенка, а то - страшно! Нет у меня ног, а то бы! Я бы работал бы и всю свою зверильницу раскормил. Торговал бы, после купил бы мамке дом в чистом поле. Ты в чистом поле бывал?

- Бывал, как же!

- Расскажи, какое оно, а?

Я начал рассказывать ему о полях, лугах, он слушал внимательно, не перебивая, ресницы его опускались на глаза, а ротик медленно открывался, как будто мальчик засыпал. Видя это, я стал говорить тише, но явилась мать с кипящим самоваром в руках, под мышкой у нее торчал бумажный мешок, из-

за пазухи - бутылка водки.

- Вот она - я!

- Ло-овко,- вздохнул мальчик, широко раскрыв глаза.- Ничего нет, только трава да цветы. Мамка, ты бы вот нашла тележку да свезла меня в чистое поле! А то - издохну и не увижу никогда. Шкура ты, мамка, право! - обиженно и грустно закончил он.

Мать ласково посоветовала ему:

- А ты - не ругайся, не надо! Ты еще маленький...

- ?Не ругайся?! Тебе - хорошо, ходишь куда хошь, как собака все равно.

Ты - счастливая... Слушай-ка,- обратился он ко мне,- это бог сделал поле?

- Наверное.

- А зачем?

- Чтобы гулять людям

- Чистое поле! - сказал мальчик, задумчиво улыбаясь, вздыхая. - Я бы взял туда зверильницу и всех выпустил их,- гуляй, домашние! А - слушай-ка! - бога делают где - в богадельне?

Его мать взвизгнула и буквально покатила со смеха,- опрокинулась на постель, дрыгая ногами, вскрикивая:

- О,- чтоб те... о господи! Утешеньишко ты мое! Да, чай, бога-то - богомазы... ой, смехота моя, чудашка...

Ленька с улыбкой поглядел на нее и ласково, но грязно выругался.

- Корячится, точно маленькая! Любит же хохотать.

И снова повторил ругательство.

- Пускай смеется,- сказал я,- это тебе не обидно!

- Нет, не обидно,- согласился Ленька.- Я на нее сержусь, только когда она окошко не моет; прошу, прошу: ?Вымой же окошко, я света божьего не вижу?, а она все забывает...

Женщина, посмеиваясь, мыла чайную посуду, подмигивала мне голубым светлым глазом и говорила:

- Хорошо утешеньице у меня? Кабы не он - утопилась бы давно, ей-богу! Удавилась бы...

Она говорила это улыбаясь.

А Ленька вдруг спросил меня:

- Ты - дурак?

- Не знаю. А что?

- Мамка говорит - дурак!

- Так ведь я - почему? - воскликнула женщина нимало не смущаясь.- Привел с улицы пьяную бабу, уложил ее спать, а - сам ушел, нате-ко! Я ведь не во зло сказала. А ты уж сейчас ябедничать, у - какой...

Она говорила тоже, как ребенок, строй ее речи напоминал девочку-подростка. Да и глаза у нее были детски чистые,- тем безобразнее казалось безносое лицо, с приподнятой губой и обнаженными зубами. Какая-то

ходячая, кошмарная насмешка, и - веселая насмешка.

- Ну, давайте чай пить,- предложила она торжественно.

Самовар стоял на ящике рядом с Ленькой, озорниковатая струйка пара, выбиваясь из-под измятой крышки, касалась его плеча. Он подставлял под нее ручонку и, когда ладонь увлажнялась паром,- мечтательно щурясь, вытирал ее о волосы.

- Вырасту большой,- говорил он,- сделает мамка тележку мне, буду по улицам ползать, милостинку просить. Напрошу и выползу в чистое поле.

- Охо-хо,- вздохнула мать и тотчас тихонько засмеялась.- Раем видит поле-то, милый! А там - лагеря, да охальники солдаты, да пьяные мужики.

- Врешь,- остановил ее Ленька, нахмурясь.- Спроси-ка его, какое оно, он видел.

- А я - не видала?

- Пьяная-то!

Они начали спорить, совсем как дети, так же горячо и нелогично, а на двор уже пришел теплый вечер, в покрасневшем небе неподвижно стояло густое

сизое облако. В подвале становилось темно.

Мальчик выпил кружку чая, вспотел, взглянул на меня, на мать и сказал:

- Наелся, напился,- даже спать захотелось, ей-богу...

- И усни,- посоветовала мать.

- А он - уйдет! Ты уйдешь?

- Не бойсь, я его не пущу,- сказала женщина, толкнув меня коленом.

- Не уходи,- попросил Ленька, прикрыл глаза и, сладко потянувшись, свалился в ящик. Потом вдруг приподнял голову и с упреком сказал матери:

- Ты бы вот выходила за него замуж, венчалась бы, как другие бабы,- а то валандаешься зря со всяким... только быют... А он - добрый...

- Спи, знай,- тихо сказала женщина, наклонясь над блюдцем чая.

- Он - богатый...

С минуту женщина сидела молча, схлебывая чай с блюдечка неловкими губами, потом сказала мне, как старому знакомому:

- Так вот мы и живем тихонько, я да он, а боле никого. Ругают меня на дворе - распутная! А - что ж? Мне стыдиться некого. К этому же - видите, как я снаружи испорчена? Всякому сразу видно, для чего я гожусь. Да. Уснул сынок, утешеньишко мое. Хорошее дитя у меня?

- Да. Очень!

- Не налюбуюсь. Умница ведь?

- Мудрец.

- То-то! Отец у него - барин был, старичок; этот - как их зовут?

Конторы у них,- ах ты! Бумаги пишут?

- Нотариус?

- Вот, он самый! Милый был старичок... Ласковый. Любил меня, я горничной у него жила.

Она прикрыла тряпьем голые ножки сына, поправила под его головой темное изголовье и снова заговорила, легко так:

- Вдруг - помер. Ночью было, я только ушла от него, а он ка-ак грохнется на пол,- только и житья! Вы - квасом торгуете?

- Квасом.

- От себя?

- От хозяина.

Она подвинулась поближе ко мне, говоря:

- Вы мною, молодой человек, не брезгуйте, теперь уж я не заразная, спросите кого хотите в улице, все знают!

- Я не брезгую.

Положив на колено мне маленькую руку со стертой кожей на пальцах и обломанными ногтями, она продолжала ласково:

- Очень я благодарна вам за Леньку, праздник ему сегодня. Хорошо это сделали вы...

- Надобно мне идти,- сказал я.

- Куда? - удивленно спросила она.

- Дело есть.

- Оставайтесь!

- Не могу...

Она посмотрела на сына, потом в окно, на небо и сказала негромко:

- А то - оставайтесь. Я рожу-то платком прикрою... Хочется мне за сына поблагодарить вас... Я - закроюсь, а?

Она говорила неотразимо по-человечьи,- так ласково, с таким хорошим

чувством. И глаза ее - детские глаза на безобразном лице - улыбались улыбкой не нищей, а человека богатого, которому есть чем поблагодарить.

- Мамка,- вдруг крикнул мальчик, вздрогнув и приподнявшись,- ползут! Мамка же... иди-и...

- Приснилось,- сказала мне она, наклонясь над сыном.

Я вышел на двор и в раздумье остановился,- из открытого окна подвала гнусаво и весело лилась на двор песня, мать баюкала сына, четко выговаривая странные слова:

Придут Страсти-Мордасти,
Приведут с собой Напасти;
Приведут они Напасти,
Изорвут сердце на части!
Ой беда, ой беда!
Куда спрячемся, куда?

Я быстро пошел со двора, скрипя зубами, чтобы не зареветь.